

ТОМАС МАНН

*ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА
ФЕЛИКСА КРУЛЯ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

Сейчас, когда я взялся за перо, чтобы на досуге и в полном уединении (я, кстати сказать, еще здоров, хотя и чувствую себя усталым, очень усталым, так что писать придется понемногу, с передышками), итак, когда я собрался четким, красивым почерком, который мне дан от Бога, поверить долготерпеливой бумаге свою исповедь, меня вдруг взяло сомнение — достаточно ли я просвещенный и образованный человек, чтобы справиться с этой задачей. Но поелику я собираюсь рассказывать о своей собственной жизни, своих собственных страстях и заблуждениях, то материал, разумеется, мне знаком досконально, и сомневаюсь я лишь в своем умении с должным изяществом и тактом излагать события; хотя тут, по-моему, законченное образование играет меньшую роль, нежели прирожденные способности и светское воспитание. А таковое я получил, ибо происхожу из, что называется, «хорошей», хотя и непутевой, бюргерской семьи. Я и моя сестра Олимпия довольно долгое время находились под присмотром гувернантки из Веве, которой впоследствии пришлось покинуть наш дом по причине чисто женского соперничества, возникшего между ней и моей матерью. Дело касалось моего отца. Мой крестный Шиммельпристер, с которым меня связывали самые дружеские отношения, был весьма уважаемым художником, и в нашем городишке его неизменно величали господином профессором, хотя

4 этот почетный титул вряд ли был официально ему присвоен. Отец же мой, несмотря на свою тучность, отличался удивительной легкостью движений и очень заботился об изысканной ясности своей речи. В его жилах текла унаследованная от бабки французская кровь; годы учения он провел во Франции и уверял, что знает Париж как свои пять пальцев. Ему нравилось вставлять в разговор словечки вроде: «с'est ça», «épatant» или «parfaitement»¹, — произношение у него было великолепное; любил он и обороты вроде «О, я это гутирую» — и до конца своих дней оставался любимцем женщин. Но возвращаюсь к моим врожденным стилистическим способностям; на них я полагаюсь всю свою жизнь и думаю, что могу положиться и сейчас, при этом первом своем выступлении на литературном поприще. Вообще же свои заметки я буду писать с полнейшим чистосердечием, не страшась упреков ни в тщеславии, ни даже в бесстыдстве, ибо что проку в воспоминаниях, ежели они не откровенны!

Я родился в Прирейнской области, в благословенном краю, где мягок не только климат, но и рельеф местности не знает резких переходов, в краю густонаселенном, обильном веселыми городами и деревушками и едва ли не самом очаровательном на земле. Здесь, в сиянье полуденного солнца, защищенные рейнскими горами от суровых ветров, цветут и зеленеют селенья, при одном имени которых радостно бьется сердце бражника: Рауэнталь, Иоганнисберг, Рюдесгейм; здесь же приютился и почтенный городок, где за несколько лет до славного основания Германской империи я впервые увидел свет. Расположенный чуть западнее колена, образуемого Рейном у города Майнца, и знаменитый своими шипучими винами,

¹ Это так; удивительно; чудесно (*фр.*).

он насчитывает около четырех тысяч жителей и является главным местом стоянки пароходов, снующих вверх и вниз по течению.

До веселого Майнца оттуда рукой подать, так же как и до прославленных курортов Висбадена, Гамбурга, Лангеншвальбаха, а до Шлангенбада и вовсе не больше получаса езды по узкоколейке. В погожие дни мои родители, сестра и я часто совершали поездки в экипаже, на пароходе или по железной дороге в направлении всех стран света, ибо красоты природы привлекали нас не меньше, чем достопримечательности, созданные рукой человека. Как сейчас вижу отца: в клетчатом просторном костюме он сидит вместе с нами под навесом какой-нибудь харчевни, довольно далеко от стола — брюшко мешало ему придвинуться ближе — и с наслаждением уписывает крабов, запивая их золотистым вином. Крестный Шиммельпристер тоже частенько ездил с нами и сквозь круглые очки зорко вглядывался в местность и в людей, равно принимая великое и малое в свою артистическую душу.

Мой бедный отец был владельцем фирмы «Энгельберт Круль», выпускавшей шипучее вино марки «Лорелея экстра кюве», ныне уже позабытой. Погреба фирмы находились на берегу Рейна, неподалеку от причала. Мальчиком я нередко бродил под их сумрачными сводами, погруженный в задумчивость, прохаживался меж высоких стеллажей и рассматривал полчища бутылок, которые в наклонном положении громоздились одна над другой до самого верху. «Вот вы лежите, — думал я (хотя, конечно, в ту пору еще не облакал свои мысли в столь точные слова), — лежите, окутанные сумраком подземелья, а в вашей утробе потихоньку зреет колючий золотистый сок, который со временем участит биение многих сердец, заставит просветлеть не одну пару глаз. Сейчас вы нагие, не-

6 взрачные, но придет день — и, великолепно разубранные, вы покинете подземный мир, чтобы на празднике, на свадьбе, в отдельном кабинете задорно выстрелить пробкой в потолок и вселить в захмелевших людей радостное безрассудство». Мальчиком я и вправду говорил что-то в этом роде и не без основания: фирма «Энгельберт Круль» придавала огромное значение внешнему виду своих бутылок, то есть тому, что на языке виноделов называется «прической». Пробки, окруженные серебряной проволокой и позолоченными веревочками, были залиты красным лаком; мало того, сбоку на золотом шнуре болталась торжественная круглая печать, как на папских буллах или старинных имперских грамотах; горлышко щедро обертывалось станиолом, а ниже красовалась золотообрезанная этикетка, эскиз которой, по заказу фирмы, сделал крестный Шиммельпристер. На ней, кроме многочисленных гербов и звезд, вензеля моего отца и вытисненного золотыми буквами названия «Лорелея экстра кюве», была еще изображена женщина, всю одежду которой составляли браслеты и ожерелья. Закинув ногу на ногу, она сидела на утесе, держа гребень в высоко поднятой руке, и чесала свои золотые волосы. Надо сказать, что качество вина не вполне соответствовало этому блистательному оформлению.

— Круль, — говаривал отцу крестный Шиммельпристер, — я не хочу вас огорчать, но полиции следовало бы запретить ваше вино: неделю назад я соблазнился, раскупорил полбутылки, и вот мой организм еще и по сей час не оправился от этой авантюры. Скажите на милость, какую дрянь вы туда добавляете — керосин или сивуху? Короче говоря, вы отравитель. Бойтесь правосудия!

Мой бедный отец конфузился: он был слабый человек и пасовал перед резкой критикой.

стер, — отвечал он, по привычке поглаживая свое брюшко кончиками пальцев, — а мне надо выпускать дешевый товар. Очень уж у нас сильно предубеждение против отечественной продукции. Одним словом, я потчую людей тем, чего они от меня ждут. Вдобавок меня еще и конкуренция душит, я уж и так едва держусь. — Вот что обычно отвечал мой отец.

Мы жили в одной из тех очаровательных вилл, что во множестве лепятся по отлогим берегам Рейна и так красят прирейнский ландшафт. Сад наш, спускавшийся к реке, был щедро изукрашен гномами, грибами и прочими искусно сделанными из фаянса фигурками; среди них на постаменте покоился большой блестящий шар, уморительно искажавший лица. Кроме того, в саду имелись эолова арфа, несколько гротов и фонтан, струи которого мудрено сплетались в воздухе и ниспадали в бассейн, где резвились серебристые рыбки.

Внутри наш дом, в согласии со вкусом отца, был убран изящно и весело. Уютные ниши и эркеры так и манили к отдыху; в одном из них даже стояла настоящая прялка. На бесчисленных этажерках и плюшевых столиках каких только не было безделушек: стаканчики, раковины, полированные шкатулки, флакончики с ароматическими веществами; по диванам и кушеткам были разбросаны подушечки, пестро расшитые шелками, — отец любил понежиться; карнизы на окнах имели форму алебард; в дверных проемах висели легкие занавеси из тростника и разноцветных бисерных нитей — те, что на первый взгляд кажутся сплошной стеной, но при первом прикосновении расступаются с чуть слышным стуком и шелестом, чтобы тотчас вновь сомкнуться за вошедшим. В прихожей над входными дверями у нас имелось хитроум-

8 ное устройство: покуда дверь, сдерживаемая особым пневматическим приспособлением, медленно закрывалась, оно тоненько выводило начало песни «Жизни возрадуйтесь!».

Глава вторая

В этом доме в дождливый и теплый майский день — кстати сказать, в воскресенье — я появился на свет. Отныне я постараюсь не забегать вперед, а неукоснительно придерживаться хронологии. Рождение мое, если верить рассказам домашних, протекало медленно и даже не без искусственного вмешательства, к которому прибег тогдашний наш врач, доктор Мекум, главным образом потому, что я — если только я вправе так обозначать то далекое и вовсе чужое мне существо — вел себя очень бездеятельно и безучастно, почти не разделяя усилий матери и не выказывая ни малейшей охоты явиться в тот мир, который впоследствии мне суждено было столь страстно полюбить. Тем не менее я оказался здоровым, крепким ребенком, которому безусловно шло на пользу молоко заботливо выбранной кормилицы. Раздумывая над странной своей вялостью и явной неохотой сменить мрак материнского лона на дневной свет, я пришел к выводу, что все это стоит в прямой связи с моей удивительной сонливостью, я бы даже сказал — с даром сна, проявившимся у меня еще в младенчестве. Говорят, что ребенком я не был ни крикуном, ни непоседой, а, напротив, к вящему удовольствию моих нянек, очень любил поспать или, на худой конец, подремать.

И хотя впоследствии меня так влекло в мир, к людям, что я являлся им даже под различными именами, ночь и сон всегда были как бы второй моей жизнью; я легко засыпал, даже не будучи усталым, впадал

в глубокое темное забытье и когда просыпался после десяти — двенадцати, даже четырнадцатичасового сна, то чувствовал себя куда более бодрым и счастливым, чем после дневных впечатлений и радостей.

Это необычное упоенье сном, казалось, стоит в прямом противоречии с тем неутомимым влечением к жизни и любви, которое владело мной и о котором я еще буду говорить в свое время. Как сказано, я не раз возвращался мыслью к этому странному явлению и временами даже ясно осознавал, что эти две мои особенности не только не противоречат одна другой, но, напротив, неразрывно между собою связаны. Теперь, когда я — всего только сорокалетний человек, но состарившийся, утомленный и утративший жадное любопытство к людям — живу в полном уединении, «дар сна» начинает изменять мне. Сон мой стал кратким, неглубоким, чутким, тогда как в свое время в тюрьме, где для сна была пропасть времени, я спал даже крепче, чем на мягких постелях Палас-отеля. Но я опять согрешил и забежал вперед.

Мои домочадцы часто твердили мне, что ребенок, родившийся в воскресенье, — счастливец. И хотя я рос в семье, чуждой всякого суеверия, но этому обстоятельству, в сопоставлении с именем Феликс (меня нарекли так в честь крестного Шиммельпристера) и моей располагающей внешности, я почему-то приписывал особое таинственное значение. Да, вера в свое счастье, в то, что я любимец богов, постоянно жила во мне и, несмотря ни на что, меня не обманула. Странная особенность моей жизни — все страдания и муки, выпавшие мне на долю, я воспринимал как нечто случайное, мне не predetermined, и сквозь них для меня неизменно мерцало солнечным светом мое истинное предназначение... Я отклонился в сторону, но сейчас

10 уже перейду к воссозданию (хотя бы в общих чертах) картины моего детства.

Отъявленный фантазер, я постоянно веселил своих домашних всевозможными выдумками и затеями. Мне помнится, правда, может быть, по рассказам взрослых, что совсем еще малышом, в платьице, я любил воображать себя кайзером и часами с необыкновенным упорством играл в эту игру. Сидя в колясочке, которую моя няня возила по саду или по обширной прихожей нашего дома, я, почему — неизвестно, силился как можно больше опустить нижнюю губу, отчего верхняя растягивалась чуть ли не до ушей, и так часто моргал глазами, что слезы набегали на них, впрочем, не только от быстрого движения век, но и от внутренней моей растроганности. Притихший, потрясенный сознанием своего старческого величия, я сидел в колясочке, а нянька рассказывала всем встречным и поперечным о том, кого она катает, так как пренебрежение моей ребячьей выдумкой меня бы страшно огорчило. «Вот везу гулять кайзера», — объявляла нянька и прикладывала ладонь к виску, — так по ее представлению отдавали честь, — в ответ на что прохожие отвешивали мне поклоны. Крестный Шиммельпристер любил мне подыгрывать, чем еще больше укреплял меня в сознании моего величия. «Смотрите-ка, вот едет наш седовласый герой», — восклицал он при встрече и склонялся передо мной чуть ли не до земли. Затем он становился на моем пути следования, изображая народ, кричал «виват», подбрасывал в воздух шляпу, трость, даже очки и смеялся до колик в животе, видя, как от избытка растроганности слезы скатываются у меня по растянутой верхней губе.

Этой игрой я увлекался и в более поздние годы, когда уже не мог рассчитывать на поддержку взрослых. Впрочем, я в ней и не нуждался, а скорее даже радовался самовольной независимости моей фантазии.

Так, например, я просыпался утром с твердым намерением весь день быть восемнадцатилетним принцем по имени Карл и твердо держался этого решения не только до вечера, но много дней подряд. 11

Неоценимое преимущество этой игры состояло в том, что ее можно было ни на мгновение не прерывать, даже во время невыносимо скучного сидения в классе. Я рядился в снисходительное величие, вел остроумные и любезные разговоры с гувернером или адъютантом, которых выдумывал себе в помощь, и был неописуемо счастлив и горд тайной своего возвышенного августейшего существования. Какой дивный дар фантазии, какие наслаждения она нам доставляет! Глупыми и жалкими казались мне другие мальчишки, явно лишенные этого дара, а следовательно, и скрытых радостей, которые я без каких бы то ни было внешних приготовлений, одним только сосредоточением воли извлекал из него! Впрочем, обыкновенным мальчишкам, со щетинистой шевелюрой и красными руками, было бы уж очень не к лицу воображать себя принцами. У меня же были редко встречающиеся у мужчин белокурые шелковистые волосы, которые в сочетании с серо-голубыми глазами так странно контрастировали с золотистой смуглостью моей кожи, что на первый взгляд никто не мог даже определить — блондин я или брюнет, и меня с одинаковым успехом принимали то за того, то за другого. Я очень рано начал следить за своими руками, не слишком узкими, но приятной формы, которые, кстати сказать, не потели, оставаясь всегда умеренно теплыми и сухими; ногти мои тоже радовали глаз своим изяществом. В голосе у меня, еще до того, как он установился, было что-то ласкавшее слух, и наедине с собою, во время долгих и занимательных разговоров с невидимым гувернером на изобретенном мною тарабарском наречии, я с удовольствием прислу-

12 шивался к его звуку. Подобные внешние преимушества — вещь довольно невесомая; определению здесь поддается разве что эффект, ими производимый, — говорить же об этом трудно, даже человеку, свободно владеющему словом. Так или иначе, но мне было очевидно, что я создан из более благородного материала, чем мои сверстники. Говоря это, я не страшусь упрека в самовлюбленности. Меня такой упрек задеть не может, я был бы лицемером или дураком, если бы оценивал себя как дюжинный товар. Поставив себе за правило неукоснительно держаться истины, я повторяю, что был создан из благороднейшего материала.

Подрастая в одиночестве (сестра Олимпия была на несколько лет старше меня), я питал склонность к необычным, мудреным занятиям, примеры которых сейчас приведу. Во-первых, мне вздумалось на самом себе изучать и наблюдать силу человеческой воли, таинственную силу, способную к проявлениям почти сверхъестественным. Всем известно, что зрачок наш сужается и расширяется в зависимости от силы света, попадающего в него. И вот я вбил себе в голову подчинить это произвольное движение своих мускулов моей воле. Я становился перед зеркалом и, стараясь выключить любую другую мысль, сосредоточивал всю свою душевную силу на приказе зрачкам — сузиться или расшириться по моему усмотрению. И смею заверить, что мои настойчивые упражнения увенчались полным успехом. Поначалу, несмотря на внутреннее напряжение — такое, что пот выступал у меня на лбу и кровь отливала от лица, — зрачки мои только неравномерно мерцали; но со временем я действительно научился приказывать им суживаться до крохотных точек или расширяться до больших блестящих черных кругов. Удовлетворение, которое я испытывал от такого успеха, уже граничило

со страхом; я содрогался, думая о тайнах человеческой природы. 13

Другая фантазия, очень меня занимавшая и поныне еще не утратившая для меня известного смысла и обаяния, состояла в следующем. «Что желательнее, — спрашивал я себя, — видеть мир малым или великим?»

Мысль моя шла так: для великих людей — полководцев, крупных государственных умов, прирожденных завоевателей и властелинов, мощно возвышающихся над толпой, мир, должно быть, выглядит малым, как шахматная доска, иначе у них не достало бы жестокости и спокойствия духа на то, чтобы дерзко и беззаботно подчинять своим планам счастье и горе отдельных людей. Но, с другой стороны, подобная ограниченность кругозора, несомненно, может сделать человека ничемным, ибо тому, кто рано научается пренебрежению и ни во что не ставит мир и человечество, грозит опасность увязнуть в безразличии, вялости и воздействию на людские души хмуρο предпочесть собственный покой. Я уж не говорю о том, что бесчувственность такого человека, его безучастность и неподвижность, на каждом шагу оскорбляя людское самолюбие, отрежут ему путь даже к случайному жизненному успеху. «Не разумнее ли, не лучше ли, — спрашивал я себя, — видеть в мире и в человеке нечто прекрасное, важное, достойное любых усилий, самого трудного служения, чтобы, в свою очередь, добиться известного почета и доброй славы? Но против такого уважительного виденья мира говорит то, что оно с легкостью может привести к недооценке себя, к преувеличенной застенчивости, и тогда жизнь с насмешливой улыбкой пронесется мимо робкого и почтительного юнца в компании более мужественных любовников. Но, с другой стороны, благоговейная вера в жизнь дает человеку значительные преимущества. Ибо тот, кто все и всех принимает всерьез, не только будет

14 приятен людям и, таким образом, добьется известного успеха в жизни, но самые его мысли и поступки неизбежно станут серьезными, страстными, ответственными, что, конечно, возвысит его в глазах людей, внушит им уважение и будет способствовать его значительному продвижению на жизненном поприще». Так я размышлял, взвешивая все «за» и «против».

Сам я непроизвольно, просто в соответствии со своей натурой, пользовался только второй возможностью; для меня мир, великий и бесконечно привлекательный, всегда был дарителем несказанно сладостных блаженств, достойным любых усилий, заслуживающим самых страстных домогательств.

Глава третья

Такие философские эксперименты внутренне отобщали меня от моих сверстников и школьных товарищей, которые предавались развлечениям, более принятым в нашем городишке; с другой стороны, всех этих мальчиков, сыновей помещиков-виноделов и чиновников, родители предостерегали против меня и, как вскоре выяснилось, даже запрещали им со мной водиться. Один из них, которого я попробовал пригласить к себе, сказал мне прямо в лицо, что дружить со мной и бывать у меня ему запрещено, так как наш дом недостаточно благоприличен. Меня это больно задело, и дружба с ним, в общем ничем не привлекательная, стала казаться мне весьма и весьма заманчивой. Но, по правде говоря, мнение, сложившееся в городке о нашем доме, было небезосновательно.

Я уже в самом начале упомянул о расстройстве, внесенном в нашу семейную жизнь гувернанткой из Ве́ве. Отец действительно приволокнулся за нею и достиг вожделенной цели, отчего между моими родите-

лями возникла размолвка, в результате которой отец на несколько месяцев уехал в Майнц — это случилось уже не впервые — передохнуть и пожить холостяцкой жизнью. Вообще же моя мать, женщина мало интересная и не особенно умная, была не права, столь сурово обходясь с отцом, ибо сама, так же как и моя сестра Олимпия (толстая и весьма плотоядная особа, впоследствии не без успеха подвизавшаяся на опереточной сцене), в нравственном отношении стояла ничуть не выше его; только легкомыслию отца было присуще известное обаяние, тогда как в их упорной жажде наслаждений оно начисто отсутствовало.

Мать и дочь связывала на редкость интимная дружба; однажды, например, мне довелось видеть, как старшая сантиметром измеряла объем бедер младшей, сравнивая их со своими; я потом несколько часов кряду ломал себе голову над тем, что бы это могло значить. В другой раз, когда я уже смутно разбирался во всех таких делах, хотя ничего еще не мог определить словами, я стал тайным свидетелем того, как они обе донимали игривыми приставаниями работавшего у нас маляра — темноглазого паренька в белой блузе — и наконец до того его разгорячили, что он, не смыв зеленых усов, которые эти дамы ему намалевали масляной краской, как одержимый гнался за ними до самого амбара, где они укрылись с отчаянным визгом.

Так как мои родители смертельно скучали друг с другом, то к ним часто наезжали гости из Майнца и Висбадена, и тогда в доме становилось шумно и парадно. Общество у нас собиралось самое разношерстное: несколько молодых фабрикантов, актеры и актрисы, один армейский лейтенант болезненного вида, позднее сватавшийся к моей сестре Олимпии, еврей-банкир с супругой, которая удручающим образом выпирала из своего расшитого стеклярусом платья,